



Свечка

Валерий Залотуха

Annotation

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности.

- [Валерий Александрович Залотуха](#)
 - [часть первая](#)
 - [Первый и первая](#)
 - [Второй](#)
 - [Конец ознакомительного фрагмента](#)
-

Валерий Александрович Залотуха

Свечка: Роман в четырех частях с приложениями и эпилогом. Том 1

«Был человек в земле Уц».

Книга Иова

«Слаб и робок человек, слеп умом и всё тревожит».

А. С. Пушкин

часть первая

Три дня и три ночи, или За други своя

Первый и первая

...нет, приятно, что и говорить, чертовски приятно, просто большое удовольствие получаешь, когда сидишь перед телевизором с банкой чая или с чашкой... ну да, с чашкой чая или с банкой пива, с длинненькой такой прохладной баночкой «Holsten» – вечером в кресле, а ноги в тапочках на табурете пристроены, и ты уже не сидишь, а лежишь – съехал, так, что даже и не очень удобно, но ты не шевелишься, ты *неколебим*, – потому что тебе хорошо, потому что ты смотришь, как его берут. КАК ЕГО БЕРУТ! Омоновцы, крепкие такие парни в камуфляже, бронежилетах и черных масках с коротенькими такими автоматами... Вот «мерс» по улице мчится, кажется, никто не может его остановить, но вдруг «жигуль» из соседнего ряда подрезает и к обочине – стоп! А второй «жигуль» сзади блокирует и оттуда, как горох, как черти из бочки, омоновцы – шах! Автомат в окно, дверца нараспашку, за шкуру его из салона, «руки на капот!» – мат! Несколько секунд сюжет всего длится, а сколько удовольствия получаешь! Там уже другой сюжет, что-нибудь про культуру, про театр например, а мысль твоя – назад, вдогонку прежнему, мысль правильная, тягучая, приятная: еще одного взяли... сколько веревочке нивиться... так ему, голубчику, и надо... нет, все-таки милиция иногда мышей ловит... молодец Лужков – Москву отстроил, может, и порядок наведет... И хотя последняя, замыкающая, так сказать, часть этой во всех отношениях приятной мысли одна и та же, и она фактически отрицает *самой* мысль, попросту ее зачеркивает: все равно отпустят, хоть он там и сто человек убил – отпустят, за деньги отпустят, за миллион, допустим, долларов отпустят, кто же устоит перед миллионом долларов, – ты

отмухиваешься, то есть, ха-ха, отмахиваешься от подобного завершения мысли, как от мухи, от назойливой мухи... цеце, потому что удовольствие от того телесюжета получаешь несомненное, и удовольствие оказывается выше правды. Удовольствие выше правды – забавная постановка вопроса, не правда ли? И если бы не болело горло – фарингит, – всё бы ничего, бывают болезни и пострашней, но нередко дело заканчивается ангиной с температурой под сорок – фарингосепт! – так вот, если бы не болело горло, я бы с удовольствием поделился своим открытием со всеми вами, милостивые государи и милостивые государыни... Удовольствие выше правды, не правда ли? Да-да-да! **УДОВОЛЬСТВИЕ ВЫШЕ ПРАВДЫ!**

Я слышу свой голос, но не сразу понимаю, что он мой – высокий, жалкий. Жалкий, вот именно – жалкий... Я понимаю, что то был сон, бред, сонный бред, а теперь начинается явь...

И мне ее почему-то не хочется...

Глаза сами открываются, и я вижу сидящего рядом незнакомого парня. Он улыбается. Один глаз у него черный, заплывший, *подбитый*, зато другой – блестящий, живой, дружелюбный.

– Ну вы даете! Вы сейчас такое говорили, – сообщает парень.

Получается, что он подслушивал, и это меня раздражает:

– Какое? Что я говорил?

Парень чешет в затылке, смущенно пожимает плечами и уходит от ответа:

– Да так...

«Да так...»

Я молчу.

И он молчит, и я начинаю сознавать, что обидел его, не сильно, но обидел.

Парень смотрит на свои наручные часы и сообщает время.

– Четыре... – и снова улыбается.

А он и не обиделся нисколько...

Сколько-сколько? Четыре? Самое страшное, самое ненавистное мое время – четыре...

А где Гера? Где Женька, где Алиска? Где Даша?

Да, где моя Даша?

Я задаю себе эти вопросы, как будто не знаю, где все они.

Они – у себя дома, в своих кроватках.

(Впрочем, Гера, возможно, и в чужой.)

Спят.

А вот где ты, Золоторотов, где ты?

Где я?

Я лежу на голом деревянном полу в берете, куртке, ботинках, и у меня затекли ноги и болит спина...

И горло, главное горло...

Фарингосепт!

Я в КПЗ.

Чёрт! Чёрт побери, да ведь это меня вчера брали! Омоновцы в масках... Меня! На Ленинском, около железного истукана. Один «жигуль» подрезал и заставил остановиться, хорошо, что скорость была небольшая, а то я, водила аховый, точно в него бы въехал... А второй, красный, грязный весь, блокировал сзади. И – началось!

Страх не было, нет, страха совсем не было. И первая мысль: «Гера!» Это они его берут! Машина его, документы его...

Чёрт...

Чёрт бы драл этого Геру с его бизнесом.

РУССКИЙ БИЗНЕС:

Я покупаю вагон сахара.

А я продаю.

И один бежит искать деньги, а другой бежит искать сахар. Русский бизнес – бессмысленный и беспощадный. Но я сразу решил молчать! Не колоться! Прикинуться валенком! Шлангом! А Гера не дурак, ох, Гера не дурак, он скоро почует неладное, вот именно – *почует* и рванет куда-нибудь подальше – в Харьков к тетушке или в Америку к дядюшке... То есть не к дядюшке, конечно, а к родственникам, в Америку, туда, где его никто уже не достанет. Отсидится там, пока здесь все утрясется, *уконтрапунится*... Не может же быть, чтобы у Геры было что-то серьезное, этого не может быть, потому что не может быть никогда, а раз так, то, значит, утрясется, у нас со временем все утрясается. А я пока буду молчать! И, может быть, даже поведу их по ложному следу, чтобы потянуть время, *поелику* это будет возможно – день, два, три... Как говорится, «за други своя». Откуда это? Не важно – откуда, важно – за кого! «Слово о полку Игореве»? Может, и оно. День, два, три... Да, поелику это будет возможно, а потом скажу:

– Извините, но вы ошиблись!

Или:

– К моему глубокому сожалению – вы ошиблись!

А еще лучше:

– Мне очень жаль, но вы ошиблись!

Представляю, как вытянутся их физиономии... «Руки на капот! Ноги шире!»
(Неприятно, я вам доложу.)

А если бы там был Гера?

Он ведь без пистолета из дома не выходит.

Ты, Герка, всегда был везунчик.

И я, конечно, буду молчать, пока ты, скотина, не смоешься, как ты говоришь, «из Рашки»...

Буду молчать!

А они и правда шустрые ребята, эти омовцы... Не такие, конечно, как в телерепортажах: когда меня брали, один другого нечаянно автоматом в бок ткнул, и тот ойкнул и ругнулся – смех... (Накладочка вышла.) Но все равно, шустрые они ребята, и брали меня лихо. Непонятно, правда, – брали, можно сказать в торжественной обстановке, а засунули в банальный милицкий «обезьянник». Нет, это хорошо, что простое отделение милиции, для Геры хорошо – значит, ничего серьезного. (Но будет, будет что тебе рассказать!)

Кроме меня и этого паренька, которому очень хочется со мной разговаривать, лежит посредине дурно пахнущий бомж.

Лежит и храпит!

А в дальнем темном углу сидят на корточках двое... Как грифы из американских мультиков. Уголовные рожи. Последний раз со мной случилось подобное двадцать лет назад... Когда меня посадят в КПЗ в третий раз, мне будет

уже за шестьдесят, и я скажу: «А что? Жизнь прожита не зря». Иные за всю жизнь в КПЗ ни разу не побывали, не знают, небось, даже, как эта аббревиатура расшифровывается. КПЗ...^[1] А ничего за эти двадцать лет не изменилось. Тот же «обезьянник», те же стальные прутья решетки. Вот только бомжей тогда, кажется, не было. Точно – не было! То есть они были, конечно, где-то были, но термина такого тогда не существовало: БОМЖ. «Когда мы были молодые»... В те достопамятные времена наше социалистическое общество дружно боролось с пьянством, а мы лежали на траве в скверике напротив китайского посольства и пили портвейн. Портвейн мы любили и называли его ласково: портвешок, портвуша. Нас было четверо: Гера, Федька Смертнев, Мустафа и я. Дружинники нас и накрыли! Между прочим – студенты МГУ, сволочи... Гера, кажется, учился уже в МГУ, на филфаке, кажется. (Да где он только не учился!) И еще был мент; дружинники и с ними – мент. Нет, ментов тогда тоже не было, то есть они так тогда не назывались. А как? Мильтоны? Легавые? Не помню...

Все убежали, а я остался – замешкался... Даже Мустафа убежал, хотя это ему ничем не грозило, его исключить не могли, он был иностранец, негр. Сенегалец. Матерый такой негритос, блестел, как хорошо начищенный хромовый сапог. «Взяли меня за белые руки», – рассказывал он о своем очередном приключении, и мы покатывались со смеху. А когда напивался – плакал и жаловался: «Ох, обрусел я, обрусел!» – умереть можно было. Несколько лет назад кто-то из наших сказал мне, что Мустафа умер в своем Сенегале то ли от тоски по России, то ли от цирроза печени... Мустафа милиции не боялся и убежал, а я боялся и остался. А за это выгоняли из академии автоматом. Автоматом в бок... Гера спас. Переспал с

секретаршей декана, причем не просто переспал, а сначала разыграл любовь... Жанна Борисовна – как сейчас помню... Старая и страшная... Впрочем, не такая уж и старая, помоложе нас теперешних... Но тогда она казалась старой. (Да и не такая уж страшная! Она мне даже нравилась...) Жанна вытащила милицейскую «телегу» из почты декана и отдала Гере, и мы торжественно сожгли ее и пепел залили портвейном. Там такое было написано – меня бы точно отчислили. Ну что ж, старик, долг платежом красен? Теперь я буду тебя выручать. («Однажды двадцать лет спустя». Кино такое было. Плохое? Да, плохое.)

– Ну ты, морда, кончай храпеть! – Мент. Сонный и злой. – Ну ты, морда! – И стучит резиновой дубинкой по прутьям решетки. А это, оказывается, не прутья, а трубы – они гулко отзываются своей внутренней пустотой. А бомж как храпел, так и храпит. Мент смотрит на меня, потом переводит взгляд на сидящего рядом парня, и приказывает:

– Толкни его.

Парень медлит, смотрит на бомжа, на мента и вдруг говорит – напряженно и глухо, в общем-то не скрывая своей неприязни к этому *представителю власти*:

– За отдельную плату. – И отворачивается к стене, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Мент просыпается окончательно, буравит затылок парня маленькими злыми глазками и стучит по трубе громче: бух! бух! бух! а она отзывается гулко и протяжно: у-ух... у-ух... у-ух... Вот вам и «ноктюрн на флейте»... водопроводных труб... в исполнении злого сонного мента. (Когда-то я любил Маяковского. Интересно, люблю ли я его сейчас? Надо бы перечитать.) А мент опять на меня смотрит... Но

ничего не говорит. Нет, я, конечно, могу разбудить этого несчастного вонючего бомжа, но... Не будет ли это своего рода штрейкбрехерством? Ситуация разрешается неожиданно быстро, так быстро, что я не успеваю сразу все понять и оценить: один из «грифов» вдруг вскакивает, пружинисто, по-спортивному (он, кстати, в спортивном костюме), и коротко и очень сильно бьет бомжа ногой в бок. У того что-то екает внутри, я отчетливо это слышу. Селезенка? Бомж вскрикивает, садится, трет грязной ладонью бок и обводит всех полным боли и страдания взглядом. А глаза у него маленькие, красные.

– Кончай храпеть, морда! – Это опять мент. У них, наверно, любимое слово – морда. Меня ведь тоже вчера называли мордой... Когда усадили в красные «Жигули» – сзади, а по бокам сели двое с автоматами. Первый шок (а это был именно шок), – первый шок прошел, и я уже отчетливо понимал, что они меня с Герой спутали, и здесь у меня вырвалось, клянусь, это не было трусостью или приступом малодушия, да я и не собирался говорить, что я – ты, я просто высказал вслух предположение, просто так высказал:

– Может, вы меня с кем-то спутали?

Мы ехали мимо «Баррикадной» (машину покачивало на брусчатке, я это отчетливо помню), и вдруг тот, кто сидел впереди рядом с водителем, заорал:

– Молчать, морда!

Вообще, все они были чем-то раздражены. Складывалось впечатление, что я (то есть ты) им, в общем, не так уж и нужен... И даже совсем не нужен.

НАС НЕ ПРИНИМАЛИ!

Это, знаешь, как бывает: заберет «скорая» больного и начинает его возить из

больницы в больницу, а там или мест нет, или карантин, или просто принимать не хотят. Мы останавливались у двух или трех отделений милиции, и тот, кто меня мордой назвал, – уходил раздраженный и еще более раздраженный возвращался. Не принимали. Смешно и грустно, грустно и смешно...

Но...

Часы.

Мои часы!

Они у этого противного мента на руке, я их вижу!

Я цапаю себя за запястье – пусто, – мои, точно мои! Но как, как они к нему попали? Ах ну да, я же забыл, совсем забыл, их сняли, когда обыскивали, когда все забрали – документы Герины и деньги, мои... Впрочем, какие там деньги, а вот ножичек, любимый швейцарский «Victorinox», который мне Даша подарила, где он? Был и нету, пропал, исчез, мистика какая-то, с ним всегда какая-то мистика происходит, с моим ножичком, сколько раз я его терял, столько же находил.

А мент уходит... Уходит, уходит, уходит. «Врешь – не уйдешь!» – кажется, так Чапаев кричал? И я кричу ему вслед – насмешливо и дерзко:

– Скажите, пожалуйста, который сейчас час?

Он останавливается, оборачивается и смотрит... Как бы недоумевая... Пухлый, лупоглазый, губки бантиком. На него без улыбки смотреть невозможно, и я с трудом сдерживаюсь. А он выдерживает многозначительную паузу, смотрит на МОИ часы и твердым голосом сообщает время:

– Четыре. Ровно.

Четыре! Опять четыре!

– Есть еще вопросы? – спрашивает он, чтобы оставить за собой последнее слово. Я только пожимаю плечами – его ответ мгновенно выбивает меня из колеи. Мент усмехается, поворачивается и уходит. И тут меня осеняет, и я кричу ему вслед:

– Отличные у вас часы!

И он – смущается на ходу, явно смущается, и я провожаю его взглядом... А это хорошо, если человек еще не разучился смущаться. (Тем более, если этот человек – мент.) И он, конечно, прекрасно понял, что я не позволю ему прикарманить мои часики! Беспардонная все-таки наглость...

Паренек с подбитым глазом трогает меня за локоть и говорит громким шепотом:

– Вы с ними поосторожней.

Я не понимаю – в каком смысле?

– В каком смысле?

– Они вежливость любят. – Паренек говорит это так серьезно, что я невольно улыбаюсь.

Мало ли что они любят.

«В самом деле, мало ли что они любят!» – думаю я и повторяю:

– Мало ли что они любят.

Паренек молчит.

Славный... Как он здесь оказался? Подрался с кем-нибудь? Честь защищал? Ну это вряд ли... Честь в наше время не в чести, извиняюсь за каламбурчик, как Гера говорит.

– А вас за что посадили? – спрашивает он, и я смотрю на него, улыбаясь, не

зная, что ответить. Как там у Анатолия Жигулина? «Ни за что!» Хотя вряд ли он знает Анатолия Жигулина. И откуда он взял, что меня посадили?

– Откуда вы взяли, что меня посадили?

Паренек пожимает плечами и растерянно улыбается.

– Вы же сидите...

– Ну во-первых, я не сижу, а практически лежу, полулежу, как Стенька Разин на челне, а во-вторых, меня не посадили, а взяли, всего-навсего взяли, да и не меня, кстати, а...

– А я милиционера избил, – сообщает вдруг паренек. Он делает это, как пионер на торжественной линейке: выпрямляется, расправляет плечи, и глаза при этом радостно светятся.

До меня не сразу доходит смысл услышанного.

– Что?!

– Милиционера избил, – повторяет паренек и улыбается.

Я молчу, потому что не знаю, что сказать, а он расценивает мое молчание то ли как поощрение его безрассудного поступка, то ли как желание знать подробности. Он чешет свой вихрастый затылок и, смущенно улыбаясь, начинает их выдавать:

– Да все из-за Настьки... Это сестренка моя младшая. У нас еще старшая есть – Галька, а Настька – младшая, ей семнадцать четырнадцатого мая исполнилось. Мы вчера на концерт с ней пошли, на Анастасию, я Анастасию уважаю – душевно поет, и без фонограммы. А там давка была, народа полно, сзади давят... И нас с Настюхой – прямо на сержанта этого... Ну мы же не виноваты, правильно? А он на Настюшку: «Куда прешь, дура!» А она, между прочим, в школе отличница была. Заплакала... Я

ему: «Извинись!», а он: «Ща-ас. Много вас таких». Ну, я ка-ак дал ему! Вырубил сразу... Нос сломал... Я ему нос сломал. – Паренек замолкает наконец и смотрит на меня, ждет, что я ему скажу. А что я могу ему сказать? Юридически я совершенно безграмотен, но откуда-то знаю, что за драку с милиционером срок дают автоматом, и срок немаленький. Что я могу ему сказать?

– Пятак мне светит, – сообщает он убежденно и спокойно.

– Что?

– Пять лет мне дадут.

– Пять?!

– Ага, пять. Они мне сразу сказали: «Пять лет тебе гарантированы».

– Как тебя зовут?

– Толик.

Толик... Улыбается. Совсем еще ребенок. А впереди – пять лет тюрьмы. За что? Я спрашиваю – за что?! Только за то, что вступился за честь своей сестры? А ты говоришь – честь нынче не в чести. В чести! Только не у всех и уж, во всяком случае, не у государства этого! Все эти Мавроди, «Хопры», все эти жулики, награвившие у простых людей миллиарды, гуляют на свободе (и как гуляют!), а за ними, через прессу и телевидение вся страна наблюдает! Как в щелочку... Зырит, как Гера говорит... Пуская слюни, замирая от восторга и зависти! А этот мальчик... Убийцы, киллеры, бандиты разъезжают на джипах! Киллеры – главные герои литературы и кино, их все любят, ими все восхищаются, а этот паренек, в сущности ребенок, глупый, как все дети, глупый и искренний... Честь своей сестры защищал...

– Может, еще обойдется, – бормочу я, не глядя ему в глаза.

А он улыбается, бравивирует – мальчишка.

– Я тюрьмы не боюсь, только родителей жалко.

– Еще бы ты ее боялся, что ты знаешь о тюрьме?

– Мне сейчас двадцать один! – говорит он с азартом.

Я так примерно и думал.

– Двадцать один, так?

Я киваю.

– Через пять лет мне будет двадцать шесть, так?

Я снова киваю.

– Не старик ведь еще, правильно?

Я улыбаюсь. Да уж, действительно, не старик.

– У меня друг был, четыре года отсидел... Так он на зоне техникум закончил, представляете?

– Представляю.

– А я за пять лет институт там закончу!

Дурачок ты...

– Какой институт? – спрашиваю я как можно более серьезно.

– Я еще не придумал, – тут он немного смущается.

Не придумал – придумаешь... Я хлопаю его по плечу и говорю:

– Ничего, может, еще обойдется, – хотя, глядя на него, понимаю, что не обойдется, у таких, как он, не обходится. – Знаешь что, – говорю я, – ты лучше побольше читай книжек. Прочитать книжку – это поступок, а прочитать хорошую книгу – хороший поступок. А каждый хороший поступок делает мир лучше.

Немного, но лучше...

– Вы это во сне говорили, – смущенно улыбаясь, сообщает паренек.

– Повторяюсь, значит... – Я еще больше смутился.

– Да меня сеструха старшая, Галька, замучила в детстве этими книжками: «Читай, читай!» Училкой в школе работает. Ну, я назло не читал, самостоятельность свою отстаивал. А потом некогда было... Посадят – буду читать...

– Ну да, там времени много...

– Родителей жалко, а так я тюрьмы не боюсь, – в который раз повторяет он, – я другого боюсь. Они меня вчера бить не стали, не захотели себе праздник портить.

– Праздник? Какой праздник?

– День милиции! Вчера же день милиции был, десятое ноября...

В самом деле, есть такой праздник. Десятое ноября... 1997 года... День, когда меня взяли... Надо будет запомнить. Я задумываюсь о чем-то своем, и до меня не сразу доходит смысл услышанного.

– «Мы тебе яйца отобьем!»

Я не понимаю.

– Кому?

– Мне, кому же еще, – втолковывает паренек, но я все равно не понимаю.

– Зачем?

– «Чтоб не женился никогда!» И смеются... А я знаю, как это делается, в Чечне видел. Пристегнут руки в наручниках повыше, чтоб согнуться не мог, и бьют там – ногами...

В Чечне? Врет или не врёт? После Афгана, помнится, все в афганцы

записались.

– А я жениться хочу. На хорошей девушке. И чтобы трое детишек было, не меньше... У чеченцев детей много...

– Вы действительно были в Чечне?

– Ага. Я сразу туда просился, но меня не брали, у меня родители инвалиды по зрению. И брат Васька в Афгане погиб... Вроде как нельзя, но я все равно... Добровольцем... Да там уже не смотрели: родители не родители, брат не брат... Прямо из учебки в Чечню кинули... А там же день за два шел. Приказ министра обороны – и по домам...

– Ты где работаешь?

– На АЗЛК.

– Где-где?

– Завод Ленинского Комсомола, не знаете разве? «Москвичи» выпускает. Удивляется.

– Да нет, знаю, конечно, просто я был уверен, что он совсем уже заглох.

– Не, не заглох. Работает. Правда, три дня в неделю только. И денег не платят. Мне все говорят: «Уходи», а я: «Нет, я на нем до армии работал». Мне охранником сколько раз предлагали, и бандиты подкатывались. Они нас, кто с «чехами» воевал, уважают: «Иди к нам: бабки, телки, все будет» Не-е... Я все равно верю...

– Чехи? При чем тут чехи?^[2]

Он неожиданно замолкает и опускает глаза.

Брат в Афгане погиб, а ты в Чечню добровольцем пошел, родителей инвалидов не пожалел... Но во что же ты, интересно, веришь?

– Во что ты веришь?

– Ну как... – Паренек вскидывается и говорит убежденно: – Что Россия с колен поднимется.

Да-а... Да, старик! Услышать такое, в таком месте, от такого вот паренька – это, я скажу, дорогого стоит! Ради этого можно провести в КПЗ бессонную ночь. Он смотрит на меня в ожидании поддержки. «Россия с колен»... А может быть, он – сокол Жириновского или какой-нибудь баркашовец? Ждет... Я поднимаюсь и разминаю затекшие ноги.

– А вы верите?

Вот пристал... Не люблю я, не люблю подобный пафос: Россия, колени и прочее.

– Она на это просто обречена. – Где-то я слышал эти полные самодовольства слова и повторил их, чтобы не развивать скользкую тему.

– Ну вот. – Он удовлетворенно кивает, не замечая в моем голосе иронии.

Но что же это такое? Нет, я спрашиваю: что это такое?! Что же это за страна такая? И что за народ? (А парень этот, вне всякого сомнения, тот самый народ и есть!) Нет, если с приятелями за бутылочкой в теплой компании – на это все мы горазды – поговорить, подискутировать: поднимется Россия с коленей (или все-таки с колен) или нет, но здесь, в КПЗ, с подбитым глазом, когда «пятак светит»... Нет, надо ему помочь... Надо будет обязательно ему помочь! Он не должен садиться в тюрьму, и я просто обязан ему помочь.

– Как тебя зовут, я забыл, извини. Ничего, что я на ты?

– Ничего, конечно, я же моложе... Толик меня зовут.

Толик, да, Толик.

– А фамилия?

– Куставинов, а что?

Куставинов, Куставинов, Куставинов... Трудная для запоминания фамилия. Куст и вино... Нет, скорее – вина.

– Послушай, Анатолий... Завтра, то есть уже сегодня утром меня выпустят, потому что попал я сюда по ошибке, и я постараюсь тебе помочь. Ты только не отчаивайся и не теряй присутствия духа. И *не дерзи* им лишний раз. Я ничего не обещаю, но обязательно постараюсь тебе помочь!

Он смотрит на меня удивленно.

– А вы кто?

– Какая разница, кто я...

– А то я смотрю и не пойму...

– Что не поймешь?

– Вы какой-то не такой. Не такой, как все... И говорите так...

Мне становится смешно, и я улыбаюсь.

– Какой – не такой? – Может, он меня за какого-нибудь начальника принимает? – Я что, на начальника какого-нибудь похож?

– Нет, не похожи. Просто вы – другой... И вы такое во сне говорили...

Другой – не другой, говорил – не говорил: это все не важно, это совершенно не важно! А важно, что... Да что ж это за страна такая проклятушая! Вот он, этот мальчик, ее золотой фонд, ее будущее. А что, что она с ним делает?! Он безропотно отправился на несправедливую и бессмысленную войну – прикрывать своим

мальчишеским телом разжиревших, вконец обнаглевших генералов. Повезло – не убили! «Повезло»... Да-а... Вернувшись с войны, идет работать на завод, – не в ларек, не в ракетирь, куда все они сейчас идут, а на АЗЛК! За бесплатно, за так! Зарплату не платят, потому что начальство переводит рубли в доллары и прячет их за границей, а он – верит... Верит! Что... РОССИЯ С КОЛЕН ПОДНИМЕТСЯ! (Или с коленей?) А его за это – в тюрьму! И первым делом – отбить... Мы не рожаем, мы отбиваем. Отбить, все на свете отбить, а потом – в тюрьму! За то, что честь защищал! В тюрьму! А что такое наши тюрьмы, мы знаем! И про то, что в камере на десять человек сто сидит, и про то, что спят там в три смены, про то, что кормят, как скотину, про произвол администрации и беспредел уголовников – все это мы знаем! Ведь он погибнет там, этот искренний мальчик, погибнет...

– Мне вчера один мент сказал: «Дашь десять тысяч – отпустим», – сообщает он шепотом.

– Десять тысяч чего?

– Долларов. – Улыбается. – А я и сто в руках еще не держал.

Сволочи... Что же вы делаете, сволочи! Я попрошу у Геры, не попрошу – потребую! Для него десять тысяч – не деньги... А если даже и деньги? Здесь человек, живой молодой человек, полный сил, энергии, веры в будущее. Я скажу: «Гера, ты мне друг?» И он ответит: «Друг». Десять тысяч, сволочи! А он сидит, улыбается, думает... О чем, интересно? О чем, о чем – о России! Никак не меньше... А может, зря ты, парень, в нее веришь? Не потому, что она такая плохая, просто потому, что ее нет, давно уже нет. Потому что все происходящее вокруг – абсурд, и страна соответственно называется – Абсурдистан! А президентом ее должен быть...

да тот же король абсурда Жириновский! Или любой из тех, кто лезет на трибуну Думы, чтобы покрасоваться перед телекамерами. Перед телекамерами... Так... Так! А ведь меня вчера снимали. МЕНЯ СНИМАЛИ! Так вот почему там было так светло! Я еще подумал, успел подумать: «Почему так светло?» Прямо напротив стоял микроавтобус, его боковая дверь была отодвинута, и оттуда, из широкого такого проема светила яркая белая лампа. Какой-то парень держал ее в руке. А другой держал на плече телекамеру. Телеоператор. Та-ак... Это уже интересно! Но как же я мог забыть? Неужели все-таки испугался? Но я бы помнил свой страх, страх – чувство запоминающееся, а я забыл... Но что же все это значит? Что же такое Герка сотворил, что его берут, как какого-нибудь Япончика? Гера, Гера... Правда, там, в Америке взяли именно Япончика, а здесь перепутали и взяли не тебя, а меня. Ну, что же ты хочешь – Абсурдистан! И вот, значит, почему мне приснился этот сон, точнее не сон – бред, сонный бред: как будто я сижу в кресле, ноги на табурете, и смотрю по телевизору, как его берут. А это не его, это меня берут! И это что же, меня теперь покажут по телевизору? Или уже показали? Любопытно – по какому каналу? «Московский»^[3] наверное, у них много подобной чепухи проходит. Удивительно провинциальный канал. Москва, как к ней ни относишься, это все-таки Москва. Десять миллионов человек – целая европейская страна. А то и две... А смотришь московское телевидение и думаешь – какой унылый городишко, Урюпинск какой-то... Нет, это надо умудриться! А вот «Свободный» – наоборот. Там самое маленькое событие в том же Урюпинске вырастает до масштаба почти международного. И вроде такие же люди, и техника такая же. Удивительно! На «Свободном» передача называется... «Криминал», да... А на «Московском»? Не помню как, впрочем, это не

важно... А что, если вчера уже показали? Видели ли мои? Алиска только «Свободный» смотрит, мечтает быть телеведущей, ее вообще политика интересует, что редкость для девочки. Женька, конечно, висела на телефоне, она не любит новости и всегда в это время висит на телефоне. А Алиска смотрела... «Мама, иди скорей, нашего папу берут!» Бр-р-р... Важно еще, какой комментарий. Фамилии они обычно не называют. «В интересах следствия». А вот за что взяли – говорят. Так что же, Герка, ты натворил? Не убил, не изнасиловал, не расчленил, это понятно. Налоги? Это может быть. «Если бы я их платил, то ходил бы сейчас без штанов». «Этому государству – ни копейки!» – Герман Штильмарк. «Не было в этой стране порядка и никогда не будет» – это тоже ты. «Россия – проигранная война» – звучит красиво, но я не согласен... Значит, все-таки налоги... Да, сейчас кампания какая-то по сбору налогов идет, чуть ли не ФСБ подключилось, я где-то читал... А тогда, кстати, когда я в КПЗ первый раз попал, тоже была кампания – по борьбе с пьянством. Так и живем – от кампании до кампании! Абсурдистан... И тут ты, старик, прав: в России можно поменять общественную систему на сто восемьдесят градусов, но это ничего не изменит. Люди-то остаются те же, людей-то не поменяешь. Беги, Гера, беги! А кампания кончится – вернешься. Они у нас бурно начинаются, но быстро скисают. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения! Это точно. Интересно, кто первым это сказал? Кто-то сказал...

Второй

А случалось ли вам, милостивые государи и милостивые государыни, случалось ли вам кататься по осенней Москве одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года на автомобиле марки «Hummer»? Нет? Мне вас искренне жаль. Эх, был бы я писателем, то взял бы его и описал! Однако не так, как это делают в наше время, – читаешь и не понимаешь, нравится писателю описываемый им предмет, или он его презирает, шутит или всерьез, возвышает или принижает, да всё с насмешкой, с подковыркой, – нет, не так, а как, к примеру, в девятнадцатом веке описывали: ясно, просто, открыто, с милыми сердцу подробностями и радостными восклицаниями. Знаю, знаю – чукча не писатель, чукча читатель, и все-таки:

Что за прелесть этот «Hummer»!

Внутри – как в кабине космического корабля, но не нашего кондового «Союза» или, как он там теперь называется, а их американского «Аполлона-Шаттла». Двигателя практически не слышно, а ведь это военная машина! Кожа, всюду белая мягчайшая кожа. А мой Хворостовский – как астронавт Армстронг. «Один маленький шаг человека – большой шаг человечества». Морда у Хворостовского, конечно, наша, а вот затылок... Ровный, прямой, аккуратный, словно только из парикмахерской – самый что ни на есть американский! Джи ай!^[4] И все время говорит с Землей. По мобильному. Правда, матерится при этом ужасно... Но ведь для них, американцев, мата, как известно, нет, они его, как известно, отменили! То, что раньше у них считалось матом и было запрещено, теперь разрешено и матом не считается. «Есть запрет – есть проблемы, нет запрета – нет проблем». Кто сказал?

Какая разница – кто? Все сказали! Для них теперь публично выматериться, что для нас произнести: «С добрым утром!»

– С добрым утром, дорогие товарищи!

– С добрым ...

Совершенно не помню, как я снова заснул, но зато хорошо помню, как проснулся. Быстро и легко! Голова была чистой и свежей, и я чувствовал себя на удивление отдохнувшим. Минуту или чуть больше я вспоминал сон, увиденный перед самым пробуждением, что-то очень яркое, радостное, весеннее: синее небо, зеленые деревья, ласковое солнце, кавалеристы на конях и длинные, развевающиеся на ветру узкие разноцветные флаги на высоких древках пик... Было реальное ощущение праздника, которое испытываешь только в детстве. Причем, неважно какой: Новый год, Первое мая, полет Юрия Гагарина или твой день рождения, все равно – ПРАЗДНИК! И так не хотелось, чтобы это ощущение уходило, что я прокрутил увиденный сон в памяти два или три раза, наблюдая с легкой грустью, как он тускнеет, гаснет, исчезает, и вдруг услышал шаги – уверенный стук крепких каблуков по гулким дощатым половицам, и голос – сильный, властный, громкий, я бы даже сказал, театрально громкий, забивающий и отрицающий чье-то унылое бубнение или бубнеж.

– Ты поговори мне еще, поговори!

И я сразу почему-то почувствовал, что это ко мне, а точнее – за мной, и успел подумать, что мой невольный обман раскрылся, и немного даже пожалел, что все так быстро кончилось. Поднимаясь, я заметил также, что того славного паренька в нашем «обезьяннике» уже нет, а бомж и два грифоподобных уголовника продолжают

присутствовать. И тут он вошел! Нет, не вошел – ворвался, стремительно влетел, и длинные полы его белого, да-да, белого в эту грязюку плаща картинно развевались! И уже тогда мне показалось, что он похож на Дмитрия Хворостовского, на нашего знаменитого певца. Вообще-то, в жизни я Хворостовского не видел, только по телевизору, да и то мельком, раза два или три, кажется, да и не слышал толком, может, он вовсе и не похож, но мне так показалось... У этого моего Хворостовского был вид человека, которому всегда и во всем везет. Так ведь и тому, настоящему Хворостовскому, сказочно повезло – с голосом, внешностью и карьерой. Такая, наверное, получилась аналогия. Повезло... Везение вообще интересная штука, у Геры на этот счет целая теория. Везение, оно же пруха – своевольна и горда. Любит лезть. Но при этом мнительна и пуглива. Обидчива. Нельзя, например, говорить: «Мне не везет» – этим ты ее обидишь. Гера утверждает, что я не ищу везения. А я в самом деле его не ищу, оно мне попросту не нужно. Потому что у меня всё есть! И это не привычка довольствоваться малым. Не малым, старик, не малым, а достаточным! У меня есть жена, дочь, квартира, любимая работа по профессии. А теперь еще и Даша! Но я отвлекся, извини. Значит – моя встреча с Сокрушилиным (хотя я не знал еще тогда, что его фамилия Сокрушилин) была следующей: мент все продолжал бубнить (тот же самый, кстати, с моими часами) что-то вроде «не положено», «начальство придет, а я что скажу», «мне тоже неприятности не нужны», но Сокрушилин не слушал, а смотрел на меня с охотничьим азартом во взгляде, словно он пес, охотничий, англо-русская гончая какая-нибудь, а я – дичь, простой серенький зайчишка. Против азарта я, вообще-то, ничего не имею, я и сам человек азартный, только вот охоту – как род занятий не принимаю, и не просто не

принимаю, а, будь моя воля, я бы ее запретил! Видимо, Сокрушилин почувствовал такое к себе отношение, белозубо, как в рекламе зубной пасты, улыбнулся и громко с иронией в голосе поприветствовал:

– Привет, Чикатило!

Верно, вид у меня был действительно жалкий... Но хотел бы я на вас посмотреть, как бы вы выглядели после ночи, проведенной в КПЗ в компании с бомжами и уголовниками? Однако растерянность моя была недолгой, можно сказать – мгновенной, и я задал вполне уместный вопрос: «А почему...» – точнее, начал его задавать, потому что этот тип в белом плаще после первого слова меня перебил, и наш скомканный диалог выглядел следующим образом:

Я: А почему...

Он: А потому!

Не просто перебил, а, я бы сказал, – передразнил, он смеялся, он явно надо мной смеялся. И тут у меня родилось сравнение... Точнее, даже не сравнение... Глядя на этого человека в белом плаще, я мгновенно подобрал ему *его* двойника – Хворостовского, и мне сразу стало легче с ним общаться. Есть одна (правда, ненаучная) теория, что у каждого живущего на нашей планете человека есть свой двойник. Он не просто похож на тебя, как две капли воды, он с тобой, что называется, одной группы крови, у вас одинаковый генетический код, словом – двойник. Правда, при этом он не знает русского языка, потому что живет в Австралии, где и родился, и у него не один ребенок, а пятеро, а жена – вообще папуаска...

Признавая ненаучно-теоретический характер данной теории, я не просто ей

симпатизирую, я по этой теории уже многие годы живу! (Правда, об этом никто, кроме Алиски, не знает.) С подтверждением ее я сталкивался еще в детстве: идешь, бывало, летом по улице – жара, тоска, одиночество, а навстречу идет мальчишка, такой же, как ты, белобрысый, *востроносый*, такой же, как ты, худой, и смотрит на тебя, так же, как ты смотришь на него – удивленно и радостно, и вы вдруг понимаете, что вы страшно, просто страшно похожи, что вы – двойники... Подрастая, взрослея, постепенно превращаясь из мальчика в подростка, а из подростка в юношу, я практически забыл о тех своих ощущениях, но, прочитав однажды в журнале «Знание – сила» статью о теории двойников – вспомнил. И вот – мне уже за сорок, на макушке хотя и маленькая совсем, но лысина, а на руках почти взрослая дочь, но я по-прежнему в эту теорию верю, как верю в то, что он, мой двойник, существует, как и я существую, и думает обо мне, как и я о нем думаю. Увидимся ли мы когда-нибудь? Возможно, хотя вряд ли. Да и нужно ли? Эта красивая, я бы даже сказал – поэтическая теория («Я знаю – есть мальчишка где-то»^[5] – это ведь тоже о двойнике!) имеет для меня и прикладной, так сказать, характер – помогает быстрее понять незнакомого человека, способствует общению с ним, вот и тогда, как только я его Хворостовским про себя назвал (раскусил?), он нахмурился, стукнул кулаком по трубе «обезьянника» и приказал:

– Выходи!

«Сколько тебе лет?» – подумал я и решил, что никак не больше тридцати. Мальчишка... Я хотел сразу предложить ему не тыкать, жестко и определенно предложить, но... Как говаривал президент Рейган, «есть дела поважнее мира», – за спиной Хворостовского переминался с ноги на ногу и недовольно кривил *морду* мой

мент. Не знаю, не уверен, смог бы я подобным образом себя вести, если бы говорил, так сказать, от себя. Но я говорил от тебя. А ты у нас крутой! (Плебейское, кстати, понятие.) Вот я и решил вести себя круто! В конце концов, когда подобная возможность еще представится?

– Я выйду отсюда только после того, как он вернет мне мои часы, – проговорил я твердо и перевел взгляд на мента.

Обтрепанный рукав его дерматиновой куртки был опущен, я не видел в тот момент свои часы, но меня не оставляла уверенность в том, что они находятся на его запястьи. Физиономия у мента была такая, как будто его изводил приступ изжоги.

– Часы? – спросил Хворостовский, полуобернувшись и глядя искоса на мента. Того еще сильнее перекосило.

– Да я побоялся в сейф положить, украсть могут... – мент бормотал еще что-то невразумительное, пока снимал со своей руки мои часы.

Я невольно усмехнулся: ну разумеется, в милиции и из сейфа могут украсть. И еще я подумал: «А хорошо быть Герой!» Мент протянул часы, но не мне, а Хворостовскому.

– О, «Rollex!» – удивился он. – Сколько стоят?

Я хотел ответить, что не знаю, что это подарок, подарок друга, а когда подарки получают, о стоимости не спрашивают, но я знал – шестьсот долларов, Гера сказал это по секрету Женьке, та – Алиске, а Алиска мне.

– Восемьсот, – сказал я и разозлился на себя за то, что сказал, да еще и приврал, от чего покраснел и еще больше на себя разозлился. (Хорошо, что в тот момент Хворостовский на меня не смотрел.)

– У-у-у, – кривясь, протянул он и, вскинув руку, показал свои часы. Это тоже был «Rollex». – А мои восемь тысяч!

Наверное, он думал, что, услышав такую цифру, я упаду в обморок. Разумеется, я не стал этого делать, а только лишь снисходительно улыбнулся, и тут же в моем мозгу родилась шутка, может, и не такая уж остроумная, но, во всяком случае, своевременная и *уместная*. Я спросил:

– Вы хотите сказать, что ваши часы идут в десять раз точнее моих?

И тут он меня еще раз удивил: засмеялся так, что в первый момент я даже растерялся – прямо-таки залился смехом.

– А... ты... мне... нравишься... – продолжая смеяться, с трудом выговаривал он. «А ты мне нет», – проговорил я про себя.

Первый раунд был, несомненно, за мной, не знаю, понял ли он это, но, надеюсь, почувствовал. Теперь он уже не смеялся, а, держа мои часы за ремешок, выжидающе с прищуром на меня смотрел. Странная картина получалась: сыр, то есть мои часы – снаружи, а я – внутри в мышеловке, то есть – в «обезьяннике».

– Выходи, – повторил он свое предложение.

И тут меня охватило раздражение, если не сказать больше. (Видимо, сказывался вчерашний шок.)

«Дверь закрыта, а он говорит: “Выходи”. Он что, издевается?» – так, примерно, я подумал и посмотрел на мента. Надо признать, в тот момент он не казался таким уж плохим. Ведь только он мог мне в тот момент помочь.

– Да открыто! – заорал мент. Он тоже психовал.

И тут я наконец понял свою оплошность! Я совсем несильно толкнул дверь,

только до нее дотронулся, а она и отворилась. Наверное, мент открыл замок и не закрыл тогда, когда я спал. Спал и не слышал... Возможно, когда выводил того славного паренька.

Хворостовский хмыкнул. В том не было его заслуги, но второй раунд остался за ним. Однако третий! Мы прошли по длинному коридору: впереди Хворостовский, я – второй, последний – мент, до двери, на которой была прикреплена табличка, каких я сто лет не видел, их давно уже не производят: прямоугольник толстого стекла, черный фон и строгие блекло-золотые буквы: «Начальник отделения милиции тов. Захарик В. К.»:

– Открывай! – приказал Хворостовский, и мент неохотно стал вертеть в скважине большим скрежещущим ключом. Когда дверь наконец открылась и мы вошли в кабинет, я очень удивился, потому что никак не предполагал увидеть подобное. Я даже не представлял, что такое сегодня может быть! Там буквально застыло время. Достаточно сказать, что над начальническим креслом висел на стене большой написанный маслом портрет... Дзержинского... И все остальное: мебель с инвентарными номерками на видных местах, телефонный аппарат (это был не телефон, а именно – телефонный аппарат, в него не говорят «алло!», а докладывают: «У аппарата»), пыльные шторы на окнах и блеклые обои на стенах – все здесь было унылое, казенное, советское! На столе стоял граненый графин сталинских небось времен, на полке – книги и брошюры издательства «Юридическая литература», а крайняя называлась «Ленин и закон». «Ну, – подумал я весело, – приплыли!» Среди всего этого Хворостовский выглядел белой вороной, однако и здесь он ощущал себя хозяином. (По-моему, он везде ощущает себя хозяином – правила нарушает, а

гаишники ему честь отдают.) Он бросил на спинку стула плащ, расстегнул пиджак (я заметил желтую кожу пистолетной кобуры под мышкой), положил на стол мобильный телефон, который до этого все время сжимал в ладони, поставил на ребро маленький диктофончик и, взглянув на меня, спросил:

– А ты чего не садишься?

И тут я подумал, что мне это, вообще-то, надоело. Я вспомнил, что я крутой, что я – Гера.

– Могу поинтересоваться, почему вы мне все время *тыкаете*? – спросил я. Гера, конечно, сформулировал бы жестче, но и этого оказалось достаточно, – Хворостовский смотрел на меня с пытливым, я бы сказал, интересом.

– Вот так, да? – спросил он.

– Да, вот так, – сходу ответил я.

Так среагировать мне неожиданно помог один из бесчисленных Гериных анекдотов, которые я обычно сразу забываю, но иногда в самые неожиданные моменты они вдруг всплывают в памяти. Так и получилось... Это – филологический анекдот... У Геры они все по разделам: филологические, гинекологические, еврейские (последние я принципиально не запоминаю) и т. д. «Муж и жена проводили кучу гостей, время за полночь, в раковине гора грязной посуды; жена подходит к мужу, кладет ему на плечи руки и, глядя прямо в глаза, шепчет: “Ты мой”. В ответ муж отрицательно мотает головой и говорит: “Мой ты”».

– Ты мой.

– Мой ты.

Интересно, что когда я рассказал этот анекдот Женьке, она только пожала

плечами – не поняла, и потом я сообразил почему: после гостей посуду мою обычно я, Женьке это чаще всего не удается. Дело в том, что за столом она нередко *перебирает*, и я довожу ее до кровати. Наверное, это может показаться странным, но я люблю перебравшую Женьку: она бывает тогда такой славной, такой беззащитной и спит, как ребенок, с улыбкой на устах... А я иду мыть посуду. Не могу сказать, что занятие это мне так уж нравится, но, во-первых, если в раковине возвышается гора грязных тарелок, я все равно не засну, а во-вторых, как всякое дело, оно трезвит и упорядочивает мысли, приведенные застольем в больший или меньший беспорядок. А Женька спит с детской улыбкой на устах, даже специально хожу на нее смотреть. Еще что мне в Женьке не просто нравится, а, я бы сказал, восхищает, – это то, как мужественно она переносит утром похмелье: выпив в постели чашку кофе, она разгадывает от начала до конца кроссворд, после чего принимается пылесосить квартиру – но тут уже к ней лучше не подходить. Так что понятно, почему Женька этот анекдот не поняла. (А когда я Даше рассказал, она смеялась... «Ты – мой». «Мой – ты».)

– Вот так, да?

– Да, вот так.

И – он сломался! Помолчав (видимо, в борьбе с собой), он неохотно выдал:

– Я могу и выкать.

– Сделайте милость, – с улыбкой подбодрил я его и отметил про себя это забавное слово – *выкать*.

– Как ВЫ себя чувствуете? – спросил он, делая ударение на «вы».

– Отлично, – ответил я, сел и закинул ногу на ногу, всем своим видом

демонстрируя, что чувствую себя отлично.

– ВАМ мои ребята бока вчера не намяли? – поинтересовался он.

Я пожал плечами.

– Да нет, вполне вежливо себя вели.

В самом деле, не стал бы я жаловаться на то, что один из них назвал меня мордой.

– Эх, знал бы ты, что это за ребята, в каких местах они побывали, – доверительно поделился он.

И тут я все понял! Что это не я, то есть не ты их, собственно, интересовал, а эти самые ребята, какой-нибудь ОМОН или СОБР, спецназовцы, прошедшие Афган, Чечню и другие «горячие точки»! Ради них все это и было затеяно! Видимо, снимался про них фильм, а я, то есть ты, конечно, мы – были всего лишь поводом, своего рода статистами.

– Разрешите представиться? – спросил Хворостовский, явно ерничая, но тут я не смог оценить юмор, потому что подумал, что, если он назовет сейчас себя, я не смогу назвать тебя. То есть я готов выдавать себя за тебя *сколь угодно долго*, но – ровно до того момента, когда ко мне обратятся с прямым вопросом: «Как вас зовут?» Я не смогу ответить, ни за что не смогу сказать: «Герман Штильмарк», у меня просто язык не повернется. («Кому нужна твоя правда?» – говорит мне время от времени Женька, и я совершенно с ней согласен. Никому. Потому что от нее всем плохо. Даже не знаю, откуда это у меня? Мама?

Ложь унижает человека, – сказала она мне, когда я был еще ребенком и безуспешно пытался выдать за правду какое-то свое детское вранье.

– А правда? – спросил я.

– Правда делает человека сильнее.

Я рос хилым и слабым и, видимо, понял маму буквально. А в результате – патология! Если бы Женька спросила: «У тебя есть кто-нибудь?» – я бы, несомненно, рассказал ей про Дашу. Хорошо, что не спрашивает.)

– Сокрушилин, слышал? – спросил он и расправил плечи. Похоже, он очень гордится своей фамилией, а точнее – собой, носящим такую выразительную фамилию. Тоже мне – Сокрушилин. Нет, не слышал! Хворостовский – слышал, Сокрушилин – нет. Я уже собирался его разочаровать, как вдруг – вспомнил! Не слышал – читал. Совсем недавно, в «Столичном молодежнике»^[6], огромную, чуть не на целую страницу, статью о провинциальном следователе (а он, конечно, из провинции, произношение у него явно не московское), из Сибири, кажется, из Сибири, да, о том, как он распутывает там самые запутанные дела, бесстрашно внедряется в преступные группировки, устраивает засады и погони, стреляет без единого промаха – этаким сибирский Робин Гуд. И еще там была фотография – он в одной белой сорочке (без пиджака и галстука), а под мышкой пистолет в светлой кобуре, благодаря которой я и вспомнил... Он, именно он! Статья называлась как-то очень броско, хлестко, но как – сейчас уже вряд ли вспомню.

И я уже хотел сказать, что не слышал, но читал, однако Сокрушилин моего ответа не дождался, он, похоже, совершенно не умеет ждать.

– Не слышал, так услышишь! – выкрикнул он и неожиданно громко и довольно неприятно засмеялся.

Нет, это даже хорошо, что я не сказал, не надо поощрять в человеке его

бахвальство. Сокрушилин оборвал смех так же неожиданно, как и начал смеяться, посмотрел на меня удивленно и решительно и решительным *же* жестом нажал на кнопку диктофона. Мгновенно в его правом углу загорелся маленький красный квадратик. Я смотрел на него и не находил в себе сил отвести взгляд. Этот КРАСНЫЙ КВАДРАТ действовал на меня совершенно странным образом: он подавлял меня, обезволивал, гипнотизировал. Я ощущал себя кроликом, заглянувшим в глаза удаву, я был готов ответить положительно на любой, даже самый нелепый вопрос:

– Вы Марк Аврелий?

– Я.

– Вы убили старуху процентщицу?

– Убил.

Хотя дело не в гипнозе, конечно, никто меня не гипнотизировал, думаю, это происходило оттого, что я страшно не люблю, просто терпеть не могу, ненавижу – фотографироваться, а тем более записываться на всякие так называемые аудио– и видеоносители. На позапрошлый, кажется, Новый год, когда я не захотел вместе со всеми фотографироваться, Женька прямо меня спросила: «Боишься оставить след в истории?» – «При чем здесь история?», – хотел возразить я, но неожиданно признался: «Боюсь». Да, боюсь! Боюсь, потому что... стыдно...

Сокрушилин не спросил про убитую старуху-процентщицу. Его вопрос прозвучал для меня, как гром среди ясного неба.

– Фамилия. Имя. Отчество, – произнес он громко и отдельно.

Нет, я не проигрывал третий раунд, я его уже проиграл, а значит, и весь

поединок в целом. Это был не проигрыш, это была КАТАСТРОФА.

Уставившись в этот красный квадрат, как идиот, я уже разинул рот, чтобы выложить все как есть. Как вдруг... (Как Алиска говорит, принося из школы приличную отметку, «его величество случай».) Сначала в коридоре загрохотали шаги, а потом открылась дверь. Да нет, не открылась – распахнулась, чуть с петель не слетела, и, если бы это произошло, нас с несчастным Сокрушилиным на том же самом месте просто *сокрушило* бы! (В этот самый момент я взглянул на Сокрушилина. Он сильно побледнел. Где-то я читал, что в минуту страшной опасности все люди либо бледнеют, либо краснеют. Бледнеющие – по сути своей бойцы, и именно таких, говорят, отбирал в свое войско Александр Македонский. Я – краснею. Он бы меня не взял. Но не обо мне сейчас речь!) На пороге стоял Захарик. Вне всякого сомнения – Захарик. Захарик, но какой! Захар! Захарище! Здоровый, как медведь, дядька, с густой сивой шевелюрой. На нем была расстегнутая шинель с полковничьими погонами, а из-за его спины выглядывали испуганные физиономии двух ментов: один – знакомый, *мой*, другой – чужой, незнакомый.

– Ты! – заревел медведь Захарик, громко топоча и наступая. – Ты... что... тут это, а?!

– Я веду допрос, – с достоинством ответил Сокрушилин. (Он, видимо, все еще рассчитывал разойтись миром. Для меня же это было неочевидно с самого начала.)

– А ну вон из моего кабинета!!! – еще громче заревел Захарик.

Тут и Сокрушилин, кажется, понял, что мир с этим человеком невозможен.

– Что-о-о?! – протяжно завопил он, приподнимаясь из-за стола и как бы увеличиваясь в размерах. Хотя Захарiku он проигрывал: и голосом, и статью. Если

тот – медведь, то этот... даже не знаю кто: олень какой-нибудь, марал?

– Па-шёл вон, сопляк! – заорал Захарик, «включая громкость» на полную катушку.

– Ты! – закричал в ответ Сокрушилин, тоже прибавив звук. – Коммунист! Железного Феликса за спиной держишь?! А на другой стороне кто нарисован?! Ленин?!

– Сталин!! – хрипло проорал в ответ Захарик.

Ну а дальше совсем паноптикум начался! Пинг-понг, в котором вместо шарика летало чугунное раскаленное ядро: туда-сюда, туда-сюда... А я вместо сетки. То есть мне совершенно не было страшно, наоборот, мне было весело, жутко весело! Дальше в ход у них пошли фамилии. Фамилий было много, и я ни одной не запомнил.

Один кричит:

– А ты Иванова знаешь?

(Это как пример.)

Другой в ответ:

– А ты Петрова знаешь?

(Это тоже как пример.)

– А мой Сидоров твоего Петрова!

– Да с твоим Сидоровым мой...

А одна фамилия – то ли Копенкина, то ли Опенкина – полковника неожиданно развеселила, и он стал хрипло, одышливо смеяться, приседая и хлопая себя ладонями по ляжкам, повторяя ее на разные насмешливые лады.

Сокрушилина такая реакция обидела.

– А хочешь, я ему сейчас позвоню, и через пять минут ты не будешь здесь работать? – с таким вопросом обратился он к Захарiku и снял с телефонного аппарата трубку.

Полковник подпрыгнул на месте, от чего в кабинете все вздрогнуло, и закричал:

– Положь!

В первый момент я подумал, что он испугался этого самого то ли Копенкина, то ли Опенкина, но тут же понял, что Захарик не был против, чтобы Сокрушилин звонил, он был против, чтобы тот пользовался его телефонным аппаратом.

– Положь, я сказал! Бери свою погремушку и звони! Хоть черту лысому звони! – Захарик имел в виду сокрушилинский мобильный, и я успел подумать: какая все-таки образная у него речь – владельцы мобильных телефонов носятся с ними, как грудные дети с погремушками, никогда не выпуская их из рук^[7]. Сокрушилин дважды встряхнул свой мобильник, но звонить почему-то не стал, а спрятал в карман пиджака. Видимо, Захарик расценил данное действие как выброшенный белый флаг и стал обличать – негодуя и громогласно:

– Ворье! Разворовали страну! Набили карманы! Дерьмократы!

– Вы имеете в виду кого-то конкретного? – поинтересовался Сокрушилин, натягивая плащ.

– Да тебя первого!

– А еще кого?

– Кого? Да всех вас, таких, как ты!

– А конкретно? – Сокрушилин сделался вдруг сухим и деловитым.

– Конкретно? Да хотя бы твоего Иванова!

Сокрушилин удовлетворенно и деловито кивнул.

– Вы говорите, говорите, а то пленка кончается, – и он показал пальцем на работающий диктофон, про который я совершенно забыл. Захарик посмотрел на него, развел руками и засмеялся. Смеялся он неумело, но искренне и хорошо – глядя на него смеющегося, сам не знаю почему, я испытывал радость.

– Хах! Испугал! Хах-хах! Испугал ежа, хах, голой ж...й!

Я, конечно, извиняюсь, но тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Разве что несколько букв.

Однако этого довода товарищу Захарiku показалось мало и он прибавил:

– На...ть, – я опять очень извиняюсь, но именно так он и сказал, – мне на твоего Иванова!

Но и этого мало! Полковник наклонился к диктофону и проговорил отчетливо и громко:

– На...ть!

(Повторяю – это голая цитата.)

– А на Петрова?

Ответ был аналогичный. Они прошли еще раз по тем же самым фамилиям, но уже в новом, так сказать, их состоянии... Потом возникла короткая пауза, потому что фамилии, как мне показалось, кончились, но на самом деле оставалось еще одна, главная, Сокрушилин готовился произнести ее вслух, и именно поэтому возникла пауза.

– А на Копенкина-Опенкина? – холодно и жестко потребовал ответа Сокрушилин, и до меня стало доходить, что этот человек совсем не так прост.

Это был удар... Захарик замялся, закряхтел, все больше и больше краснея, стрельнул затравленным взглядом на дверь, где торчали уже не две, а четыре ментовские физиономии, и задушенно и обреченно просипел:

– Тоже на...ть...

Да, Александр Македонский был прав: на моих глазах бледнеющий марал победил краснеющего медведя. Сокрушилин артистично подхватил со стола диктофон, поднес ко рту и озабоченно и деловито проговорил:

– Записано верно, одиннадцатое ноября 1997 года, – и, взглянув на свои восьмидесятидолларовые часы, назвал время: – Девять часов пятнадцать минут утра, кабинет полковника Захарика, в присутствии свидетелей.

Вот, брат, как рождается компромат! Можно сказать – играючи. Сокрушилин щелкнул кнопкой – красный квадратик наконец погас, – опустил диктофон в карман плаща и широко, я бы даже сказал, победно шагая, направился к двери. Менты, которые все время там торчали, куда-то испарились. На пороге Сокрушилин остановился. Я, признаться, подумал, что он вспомнил обо мне, но не тут-то было! Знаешь, что он Захарiku на прощание сказал?

– Мы к вам еще с шаболовскими завалимся. Мы вам тут кровавую баню устроим.

Ты понял? Нет, ты понял?! Раньше бы я подумал, что речь идет о бандитах, солнцевских там всяких и прочих, но шаболовские – это ведь РУБОП! Есть даже поговорка: «Круче солнцевских только шаболовские». Где-то я ее слышал, кто-то мне ее говорил. Кто? Да ты же мне ее и говорил, от тебя же я ее и слышал! Ну, значит, ты сам все сразу понял. «Мы к вам с шаболовскими завалимся, мы вам

кровавую баню устроим». Каково?

Но эту угрозу Захарик воспринял неожиданно *индифферентно*. Он вяло махнул рукой в спину уходящему Сокрушилину и проговорил тихо, на сиплом выдохе:

– Валяйте. У нас на всех патронов хватит.

Такое вот, Гера, было цирковое представление... Но как тебе нравятся взаимоотношения наших правоохранительных органов? Это же просто беспредел, настоящие криминальные разборки! Абсурдистан! Абсурдистан...

А между тем я продолжал сидеть там же, где и сидел, испытывая странное чувство. Я как бы был, и меня как бы не было... Для Сокрушилина я, похоже, кончился, а для Захарика не начинался. Причем он меня не игнорировал, нет, он действительно меня не замечал! Этот *настоящий полковник* тяжело подошел к столу, неловко, боком пристроился на стул и, наклонившись и тупо глядя перед собой, стал шарить в столе рукой. Была в Захарике при этом такая сосредоточенность, что я с веселым ужасом подумал вдруг: «Вот вытащит сейчас оттуда гранату, выдернет чеку и швырнет в коридор, вслед Сокрушилину». Но он вытащил оттуда лишь початую бутылку боржома. Выпив залпом два неполных стакана, полковник вытер ладонью рот, гулко и протяжно рыгнул и, наконец, заметил меня. Я улыбнулся. С моей стороны это было бестактным и даже жестоким, но я ничего не мог с собой поделать – смотрел на него и улыбался, но в той моей улыбке не было ни капли насмешки, даже иронии не было – этот человек, полковник Захарик, несмотря на его несомненные прокоммунистические убеждения, вызывал у меня симпатию.

– А ты чего тут делаешь? – устало спросил он.

На данный вопрос ответить мне было нечего, поэтому я только пожал плечами.

– Кто такой? – кривясь и потирая под ложечкой ладонью, задал Захарик второй вопрос, на который я также затруднился ответить.

На помощь неожиданно пришел тот самый *мой* мент.

– Это задержанный, Виктор Кузьмич. Сокрушилинский...

– За что задержан? – равнодушно спросил меня Захарик.

А этот ответ дался мне легко и просто:

– Ни за что.

Полковник громко вздохнул, задумался о чем-то совершенно ко мне не относящемся и сказал совсем негромко, но я услышал:

– А тогда чего здесь сидишь?

Я поднялся и вдруг увидел оставленные Сокрушилиным мои часы на столе.

– Мои, – объяснил я Захарiku.

– Забирай, если твои, – равнодушно проговорил он.

Я взял часы, подошел к двери, и сказал:

– До свидания.

Захарик не ответил. Я вышел.

«Ну вот и всё, – подумал я. – Очень неожиданно началось и еще более неожиданно кончилось». Миновав длинный коридор и открыв тяжелую железную дверь, я вышел на высокое кирпичное крыльцо. Странно, вчера мне казалось, что нахожусь я где-то в центре, в районе ГУМа, но ГУМом здесь и не пахло. Предстояло выяснить, где расположена ближайшая станция метро, но это было пустяком в сравнении со всем произошедшим. (Я даже не подумал, на что я куплю жетон, у меня совершенно не было денег.)

Я улыбнулся, вздохнул полной грудью и подумал: «Свобода!» и даже, кажется, произнес это слово, впрочем, без пафоса, и очень хорошо, что без пафоса, потому что в тот самый момент увидел стоящего внизу Сокрушилаина. Вид у него был задорный и деловитый. Он призывно махнул рукой и крикнул:

– Ну что стоишь? Поехали!

За его спиной возвышались темно-зеленые квадраты металла и стекла. Это был «Hummer»! Ты знаешь, что к технике я отношусь с безразличием, для меня проблема – отличить «девятку» от «шестерки», все эти железяки меня ни капельки не волнуют, но «Hummer», Гера, «Hummer»... Когда этой весной я увидел его стоящим на тротуаре рядом с магазином «Triniti Motors», что на улице Горького (то есть теперь уже на Тверской), то встал как истукан и стал смотреть на эту, в общем-то, конечно, железяку, как... на чудо природы, как на Гранд Каньон, на тиранозавра какого-нибудь... Я стоял, обалдевший, и рядом стояли несколько таких же обалдевших, как я. Мы даже мнениями не обменивались – молчали. Один только высказался:

– Они на таких Саддама сделали.

И все сразу поняли, что имеется в виду операция «Буря в пустыне», и продолжали молча глазеть. На дверце «Hummer'а» скотчем была приклеена бумажка с выходными, так сказать, данными: скорость, количество лошадей и прочее, а внизу цена – 113 000 USD. И хотя в тот момент в моем кармане лежал один жетон на метро, я был согласен с этой ценой. ТАКОЕ и должно СТОЛЬКО стоить. И, сознаюсь, я представил себя за рулем «Hummer'а». Да, помечтал... Но совсем немного, можно сказать, чуть-чуть. Вероятно, это не такое уж стыдное занятие –

мечтать, но я почему-то стыжусь. Мечтаю и стыжусь, стыжусь и снова мечтаю. Да и в самом деле, когда тебе перевалило за сорок и ты начинаешь стремительно катиться к полтиннику, мечтать поздно, а я все мечтаю... Ну да, а ты, конечно, нет? Врешь! Помнишь, как я предлагал тебе встретиться – пивка попить, а ты: «Не могу, старик, извини, идут живые деньги». «Идут живые деньги». Они идут, а ты уже мечтаешь, как будешь их тратить. Разве это не мечта? Мечта! (Никогда не смогу понять, как деньги могут быть живыми? Книги, я понимаю, – живые, а эти жалкие замусоленные бумажки с цифрами? Нет, никогда не смогу я этого понять!) А помнишь, как ты мне проиграл бутылку французского коньяка? Ты утверждал, что у Пушкина: «Мечты, мечты, в чем ваша сладость?» А я – что «где». «Мечты, мечты, ГДЕ ваша сладость?» Разумеется, я оказался прав. Но вот какая мысль родилась сейчас: если следовать Пушкину, получается что наши мечты существуют отдельно от удовольствия, ими доставляемого? И довольно далеко! «Где»? И где, кстати, проспоренный коньяк? Нет, старик, мечта мечте рознь. Я ведь не мечтаю о благосклонности Клаудии Шиффер. (Тем более что она совершенно не в моем вкусе, и если уж говорить о топ-моделях, то Линда Евангелиста, по-моему, вне конкуренции. А если уж совсем серьезно, то, когда в моей жизни появилась Даша, про Линду я и думать забыл.) Так что, если я и мечтал посидеть за рулем «Hummer'а», то совсем-совсем недолго, и тут же, с юмором – подумал, что я не только за руль «Hummer'а» никогда не сяду, меня и в салон его никто никогда не пустит. Никто и никогда, да. Ну и что?! Как Жванецкий говорил в одном своем блестящем монологе: «Никогда не буду узбеком». Да, не буду, и что? Но в самом деле – кто? где? когда? Кто, где и когда стал бы катать меня на «Hummer'е»?

Так неожиданно сбылась моя мечта...

А маршрут-то у нас крутой! Три раза по Садовому кольцу, как вам это нравится? Сокрушилин ведет себя так, как будто там, в ментовке, ничего не случилось. Я бы на его месте полведра валокордина выпил, а с него – как с гуся вода! Музычку включил, по телефону болтает... Музычка, между прочим, зубодробительная, бьет изо всех углов, не прислониться. Остановившись на Краснопресненской напротив «Макдоналдса», Сокрушилин сделал мальчишкам знак рукой, и они мгновенно приволокли два бумажных пакета, набитых американской едой. Один пакет Сокрушилин оставил себе, а второй бросил мне на заднее сиденье. (Впрочем, сделал он это для меня не обидно, а опять же по-американски, если судить по американскому кино, у них все так делают: один неожиданно бросает, а другой ловко ловит. Я тоже поймал, правда, совсем не по-американски, неловко, наверное, со стороны это выглядело даже смешно.) «Ешь», – приказал Сокрушилин. В пакете лежали два больших бигмака и два обжигающе-горячих пирожка с повидлом, сделанным невесть из чего. Терпеть не могу эту американскую еду (Женька тоже, а Алиска обожает), но съел всё, даже пирожки с этим ужасным повидлом, потому что, как выяснилось во время еды, здорово проголодался. Сокрушилин тоже ел с аппетитом и при этом беспрерывно болтал по мобильному. Запили клубничным коктейлем, который тоже принесли мальчишки. Это единственное, что мне в «Макдоналдсе» нравится, и я бы выпил его с удовольствием, если бы не горло, пил и думал: «Напрасно я это делаю». Поев и выбросив пустой пакет в окно(!), Сокрушилин рванул на Котельническую мимо высотки и, выехав на пустынную набережную Яузы, так стал гонять! В какой-то момент я даже испугался, решив, что

никакой он не следователь, а самый настоящий бандит, но тут же вспомнил КПЗ, мента, Захарика и успокоился, а увидев отдающего честь гаишника, успокоился окончательно: гаишники бандитам честь пока еще не отдают. И вот что я понял:

а) он катается, он просто катается! (Наверное, недавно купил этот «Hummer» и теперь наслаждается ездой.)

И б) (это главное) он чего-то ждет. Чего-то очень важного, от чего зависит вся его будущая карьера и, может быть, жизнь. Он ждет звонка. Звонок ценою в жизнь, как тебе?

И вот почему я это понял... Все свои телефонные разговоры, дурацкие, бессмысленные, то и дело *перемежающиеся* матерными словечками и дурацким бессмысленным хохотом, он заканчивает одной и той же фразой, вдруг становясь в этот момент предельно серьезным и собранным:

– Жду. Молчит.

Или так:

– Жду! Молчит.

Или еще так:

– Жду – молчит...

Теперь, с позволения сказать, о персоналиях, то есть о тех, с кем он разговаривал. Собственно, имен собственных, как таковых, не было, одни прозвища, клички. (Вот почему я еще подумал, что он бандит.) Разумеется, ни одной *кликухи* я не запомнил, но две в памяти почему-то задержались: Дед (он же Дедушка) и еще Наум. Не могу сказать, что эти, с позволения сказать, имена упоминались чаще других, скорее реже, просто интонация, с какой они произносились, несомненно,

выделяла их из общего ряда. Это была интонация не уважения даже, а, я бы так сказал, – подчинения; на иерархической лестнице, на которой все они пребывают (и наш Сокрушилин в том числе), Дед и Наум находятся на самой верхней ступеньке. Причем главный – Дед, он – бугор, пахан, начальник, Наум же стоит ниже. Но вот что интересно: говоря о Деде, Сокрушилин позволяет себе интонацию насмешливую, о Науме же говорит с несомненной любовью, причем не скрывая ее, а всякий раз интонационно ее подчеркивая. (А что, если Наум – она, женщина, которую любит Сокрушилин? Тогда Дед – это ее отец, и от него зависит, будут они вместе или нет? По-моему, эта версия имеет тоже право на существование.)

Так вот, продолжаю свое *донесение*: будущее Сокрушилина зависит от того, видел Дед или не видел: если видел – хорошо, не видел – плохо. Очень плохо! Что видел? Не знаю. И этого пока никто не знает. А узнать это может только Наум: видел Дед или нет. А Наум молчит. «Жду. Молчит... Жду, молчит». Я, конечно, испытываю неловкость от того, что, получается, подслушиваю чужие телефонные разговоры, но, во-первых, делаю я это в буквальном смысле слова – невольно, а во-вторых, не ради себя, а ради тебя, быть может, эта информация тебе еще пригодится... Да, а последний свой разговор Сокрушилин закончил со столь многозначительной интонацией, что я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Он сказал: «Ждать и догонять хуже нет». Это, кажется, из фильма «Ошибка резидента»? Как фамилия того актера, уютная такая... Ручкин? Нет, Ножкин! А сентенция, по-моему, выведенного яйца не стоит. Я, правда, в жизни никого не догонял и ни от кого не убегал, но, думаю, убегать даже хуже, чем догонять. Догонял и не догнал, ну и что? А вот убегал и поймали – это уже... (Беги, Гера, беги!) Да и ждать тоже... Особенно –

стоя...

Больше всего на свете не люблю стоять. Просто – стоять: на ногах, на *ножках*, на своих двоих... Мне просто плохо становится от любого вынужденного стояния. Возможно, это происходит оттого, что в детстве иногда мама ставила меня за шкафом в угол. Это было страшное наказание, означавшее, что я очень сильно ее огорчил, и, видимо, осознание данного факта, а не само как таковое *стояние* приводило меня в ужас, заставляло страдать и раскаиваться. Прошли годы, и сегодня никто, даже мама, не может меня таким образом наказать, но с тех самых пор я стараюсь не стоять! Нигде и ни при каких обстоятельствах. Сидеть, лежать, идти, бежать (рифма!) – это пожалуйста, но – не стоять. И не то чтобы я устаю, я вообще-то выносливый, просто сначала возникает какой-то внутренний дискомфорт, а потом начинает расти непонятная внутренняя тревога... Я неоднократно анализировал этот процесс и сделал вывод, что в такой момент во мне включается психологическая цепь, сохранившаяся еще с детства, но со временем ее конечные звенья как бы поменялись местами – если в детстве она выглядела, как голова – ноги, то теперь ноги – голова. А вот сидеть люблю! А еще больше – ходить. Просто ходить. Ходить и думать... Думать – что это вы, Герман Генрихович, там натворили? И кстати, что это Сокрушилин, как только меня увидел (я еще в «обезьяннике» торчал), назвал меня Чикатил*ой*? Или, ха-ха, Чикатил*ом*? («Фамилии с окончанием на – о – не склоняются». Я помню, мама, это я просто пошутил!) Я его – Хворостовским, а он меня, значит, Чикатило? Похож? Странная штука: когда я впервые увидел в газете портрет этого, с позволения сказать, человека, мне тоже показалось, что я на него похож, и, надо признать, неприятно стало от одной этой

мысли. Я Женьке даже тогда ту фотографию показал и спросил: «Похож?» «Ничего общего», – ответила Женька и поинтересовалась: – «А кто это?» «Композитор Гуно», – сказал я почему-то, сам даже не знаю почему, возможно, слышал перед тем по «Эху Москвы» передачу Артема Варгафтика, я всегда его слушаю, он очень интересно про композиторов рассказывает. «Гуна нам только не хватает», – сказала Женька, она тоже любит пошутить с фамилиями, которые на – о оканчиваются. Никто и никогда не говорил мне об этом моем мнимом сходстве, и я напрочь о нем забыл, но Сокрушилин заставил вспомнить. Или?.. Что – или? Или – никакого сходства нет, а есть происшествие на сексуальном фронте? Но этого не может быть, потому что не может быть никогда! По логике вещей, если бы тебя заподозрили в чем-либо подобном, меня бы не посадили в банальный милицейский «обезьянник», с такими обращаются куда как более серьезно. Это – во-первых. А во-вторых, таких не катают на «Hummer'е» и не кормят гамбургерами... (Нет, гамбургеры лучше не вспоминать, а то меня что-то подташнивает, хотя, скорее, это не гамбургеры, а повидло в пирожках – стопроцентно химический продукт.) Да... Да, и в-третьих, и это главное, это, можно даже сказать, во-первых: Гера и сексуальное преступление – вещи несовместные! «Нет такой вершины, которую не могли бы покорить большевики, нет такой женщины, которую не мог бы покорить Герман Штильмарк». Это не я сказал, а ты, без ложной скромности. (Хотя я-то так не считаю!) Но один случай мне запомнился, я тогда на какое-то время поверил, что действительно нет такой женщины... Дело было в приснопамятные застойные годы, Гера заработал какие-то деньги (он приторговывал тогда пластинками), и мы пошли в ресторан. Ни много ни мало, это был «Националь»! А мы были студенты. Неплохо, да? А в углу

сидела за чашечкой кофе женщина, в которую я сразу же влюбился. Влюблялся я тогда часто, чуть ли не каждый день, но тот случай был особенный. То была женщина моей мечты! Похожая на молодую Татьяну Доронину, в которую, кстати, я тоже был влюблен, заочно разумеется, – по фильмам, спектаклям и фотографиям. Гера насмешливо называл таких женщин продавщицами. Куда, кстати, они делись, те невысокие, крутобедрые, пышнотелые блондинки с мягким грудным голосом и влекущим воркующим смехом? Продавщица... А у самого глаза загорелись! В ней была тайна... И я сказал:

– Старик, выключи дальний свет.

– Ты уверен? – спросил Гера.

– Уверен.

– Точно?

– Точно.

Тогда он взял салфетку, что-то на ней написал и попросил официанта ей передать. Да-а... В общем, Гера ушел с той женщиной и вернулся утром. Утомленный и как бы разочарованный, каким он всегда выглядел в подобных ситуациях. Я понимал, что не имею права на него обижаться, что я сам виноват – сам первый начал, фактически спровоцировав ситуацию, но все равно – в тот день с Герой я не разговаривал. Однако так хотелось знать, какие он там слова написал, я просто не мог их себе представить! Анна Петровна Керн, как известно, не устояла, когда прочла: «Я помню чудное мгновенье...»^[8]. Неужели в самом деле – стихи? Но Гера не только не писал стихов, он, по-моему, их никогда не читал. Я терялся в догадках, но держался. Вечером Гера сам спросил:

– Хочешь знать, что я ей написал?

У меня не хватило сил сказать «нет», я просто промолчал.

– «Сколько?» – сказал Гера.

– «СКОЛЬКО?»

Гера убежден, что можно купить любую женщину. «Все дело в сумме, старик, одна удовлетворяется сотней баксов, другая тысячей, а на третью нужно потратить десять штук». Любую? Нет, старик, не любую, лично я знаю по крайней мере двух. (А сколько тех, кого я не знаю?) Да, по крайней мере двух! Ну хорошо, Женька – моя жена, ее мы трогать не будем, хотя я убежден, на все сто процентов уверен, что с ней этот номер не пройдет. А знаешь, почему я так говорю? Я ее спросил однажды, когда Алиски дома не было: «Что ты сделаешь, если к тебе на улице подойдет мужчина и предложит деньги?» (Почему-то вспомнились эти твои слова, и я решил спросить.) Так, знаешь, что моя Женька ответила? «Дам в морду». Мрачно так: «Дам в морду». И даст, обязательно даст, я мою Женьку знаю. Хорошо, Женька – моя жена, а Даша (с которой я тебя пока не познакомил, и, иногда мне кажется, никогда не познакомлю, ну тебя к черту!), так вот – Даша... Сначала я просто предлагал ей деньги, потом оставлял, как бы забывая, но всякий раз Даша была *непреклонна* и *неизменно* их мне возвращала. Разумеется, я давал ей деньги не с той целью, с какой ты это делаешь, я просто пытался ей как-то хоть немного помочь, потому что живет она с Тотошкой одна, и живет трудно, но, согласись, в подобной ситуации их даже легче принять. «Нет». Всякий раз я слышал в ответ ее решительное и твердое «нет». Нет, старик, хоть ты мне и друг, сволочь ты порядочная! Я ведь давно тебя раскусил, понял, почему получаешь ответ только положительный. Потому что ты никогда не

обращаешься к тем женщинам, которые могут сказать «нет», а только к тем, от которых, ты уверен, услышишь в ответ «да». Ну что, раскусил я тебя? Раскусил, раскусил!

Ой, что-то меня действительно подташнивает... Нет, эта Америка не для наших желудков, к этому надо с молодых ногтей привыкать. Как мой Сокрушилин-Хворостовский... Чем-то он мне все-таки симпатичен! На светофоре у магазина «Армения» (я даже не заметил, как мы вновь оказались в центре) мы покупаем (мы покупаем – это неплохо) – Сокрушилин покупает у мальчишек свежий номер «Столичного молодежника» и запечатанный в целлофан «Playboy». У мальчишек, да... (Хорошо помню, с какой надеждой и нетерпением я ждал обещанный Гайдаром рынок, но теперь, в такие вот моменты, когда вижу торгующих детей или копающихся в мусорных баках старушек, я его, этот рынок, просто ненавижу!) Кстати, впервые на моих глазах человек покупает «Playboy». Сам я никогда не смог бы это сделать. Надеюсь, во мне говорит не ханжество, я умею восхищаться красотой женского тела и никогда не забуду обнаженную Жанну Болотову в фильме «Подранки», но, во-первых, пятьдесят тысяч рублей за журнал – сумма несоразмерная, я бы даже сказал – неприличная, – когда для многих, для тех же мальчишек и старушек, и тысяча – огромные деньги, а во-вторых, я просто не представляю, как в том же самом киоске «Союзпечати», в котором ты когда-то покупал сначала «Пионер», потом ...

Конец ознакомительного фрагмента

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную версию](#).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

Камера предварительного заключения. – *Примеч. автора.*

Чехами наши солдаты во время войны в Чечне называли чеченцев. – *Примеч. авт.*

Названия телевизионных каналов по понятным причинам изменены. – *Примеч. авт.*

Американский солдат. – *Примеч. авт.*

Стихотворение Евг. Евгушенко «Зависть». – *Примеч. ред.*

Названия некоторых газет и журналов изменены по тем же понятным причинам. – *Примеч. авт.*

Тут приходится напомнить, что в 1997 году, когда все это происходило, мобильный телефон был малодоступен из-за своей дороговизны. Трубка, помнится, стоила пять тысяч долларов, минута разговора – доллар. – *Примеч. авт.*

Насколько мне известно из доступных литературных источников, А. П. Керн не устояла раньше. – *Примеч. авт.*

Строка из стихотворения А. Вознесенского «Плач по двум нерожденным поэмам». – *Примеч. авт.*

Из стихотворения Евг. Евтушенко. – *Примеч. авт.*

Чепуха. Я проверял: летят в разные стороны. — *Примеч. авт.*

Здесь имеется в виду похожее на книгу здание бывшего СЭВа, в котором в 1993 году находилась противостоящая мятежному Верховному Совету мэрия Москвы. – *Примеч. авт.*

Этими словами Порфирий Петрович напутствовал Раскольникова, отправляя его на каторгу. – *Примеч. авт.*

Если быть точным, то никакого теста не было, а был разговор Достоевского с Сувориным, описанный в дневнике известного издателя. Они сошлись во мнении, что не стали бы сообщать о ставшем им известном готовящемся покушении на царя, но это вызвало в них не «законную» за себя гордость, а горестную печаль о существующем разрыве между российской властью и теми, кто любит Россию и служит ей верой и правдой. – *Примеч. авт.*

Обскурантизм – от лат. «затемняющий». Крайне враждебное отношение к просвещению и науке, реакционность, мракобесие (Толковый словарь русского языка Ушакова).

Как известно, подобные подозрения и даже обвинения преследовали писателя при жизни, о чем Гера мог не знать. Ему было достаточно текста. – *Примеч. авт.*

Золоторотову ничего не сказала фамилия Копенкин, значит, он не читал «Чевенгур» Андрея Платонова, где главный герой носит такую же фамилию? Выходит так. Хотя странно... Впрочем, почему странно? Он даже не знает знаменитый анекдот про прачечную и министерство культуры. Такой человек... – *Примеч. авт.*

Когда-то писатель Владимир Солоухин предложил такую форму обращения, чем вызвал в свой адрес насмешливое негодование так называемых культурных слоев общества. – *Примеч. авт.*

Правильно – рэкетіры. – *Примеч. ред.*

Статья Венедикта Малофеева в «Литературной литературе» называлась «Смерть советской литературы, или Русише литературен шнель капут». – *Примеч. авт.*

Вообще-то, Достоевский говорил не о загадке, а о тайне. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». — *Примеч. ред.*

Комета Хейла-Боппа, открытая двумя астрономами-любителями в 1997 году, находилась на минимальном расстоянии от Земли и была хорошо видна даже в центре Москвы. В том же году в США было совершено коллективное самоубийство членов секты «Врата небес». – *Примеч. авт.*

Это и мое одно из самых любимых стихотворений, почему-то вижу в герое себя. Ему семнадцать, он в ГУЛАГе на лесоповале жжет костер, и досужий охранник допытывается, за что его посадили. Следующее четверостишие я помню наизусть:

Что солдату сказать — не знаю.
Все равно не поймет никто.
И поэтому отвечаю
очень коротко:
— Ни за что...

— *Примеч. авт.*

Особенность данного памятника заключается в том, что при определенном угле зрения он выглядит не вполне прилично. — *Примеч. авт.*

На самом деле тогда на месте храма Большого Вознесения стояла маленькая деревянная церковь и вряд ли пол в ней был каменным. – *Примеч. ред.*

Аналой называется! – *Примеч. авт.*

Не аналой, а подсвечник. – *Примеч. ред.*

В годы сталинских больших посадок «говядиной» называли заключенного, которого брали с собой в побег матерые уголовники для того, чтобы съесть его в тайге. – *Примеч. авт.*

Известная в те годы реклама отечественных сигарет. Буквально на каждом углу стояла. — *Примеч. авт.*